

Зверь дяди Бельома

Автор:

Ги де Мопассан

Зверь дяди Бельома

Ги де Мопассан

Натуралистическая проза крупнейшего французского новеллиста XIX века Ги де Мопассана стала образцом безоценочного реализма как личного мировоззрения, которое писатель пытается донести до читателя. «Мы всегда изображаем самих себя», – говорит он. Чистота и строгость изображения окружающего мира, в котором одновременно присутствует и прекрасное, и отвратительное, превращают каждую из новелл писателя в духовный поиск, поднимающий человека над животным.

Сборник состоит из новелл разных лет, а также статей и очерков, впервые напечатанных с 1876 по 1889 год.

Ги де Мопассан

Зверь дяди Бельома

Новеллы и публицистика

© Перевод. Д. Лившиц, наследники, 2019

© Перевод. Н. Немчинова, наследники, 2019

© Перевод. Е. Любимова, наследники, 2019

© Перевод. А. Тетеревникова, наследники, 2019

© Перевод. Н. Дарузес, наследники, 2019

© Перевод. Е. Шишмарева, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

* * *

Новеллы

Два приятеля

(в переводе Д. Лившиц)

Париж был осажден, голодал, задыхался. Воробьи стали редки на крышах, выгребные ямы опустели. Люди ели бог знает что.

В одно ясное январское утро г-н Мориссо, часовщик по профессии и солдат в силу обстоятельств, грустно прогуливался по внешнему бульвару, держа руки в карманах форменных брюк и ощущая мучительную пустоту в желудке; внезапно он остановился, встретив собрата по оружию и узнав в нем старого своего приятеля. Это был г-н Соваж, с которым он свел знакомство на рыбной ловле.

До войны, каждое воскресенье, Мориссо с бамбуковой удочкой в руке и с жестяной коробкой за спиной выходил из дому, едва рассветало. Он садился в поезд, направлявшийся в Аржантейль, выходил в Коломбе, затем шел пешком до островка Марант. Достигнув этой обетованной земли, он закидывал удочку и удил до наступления ночи.

Каждое воскресенье он встречал там низенького человечка, полнокровного и жизнерадостного, некоего г-на Соважа, владельца галантерейной лавки на улице Нотр-Дам де Лорет, такого же страстного рыболова, как и он сам. Они часто проводили полдня, сидя рядом с удочками в руках, свесив ноги над водой, и вскоре стали друзьями.

В иные дни они совсем не разговаривали. Порой между ними завязывалась беседа. Но и без слов они прекрасно понимали друг друга, так как у них были общие вкусы и одинаковое восприятие действительности.

Весной, часов около десяти утра, когда обновленное солнце поднимало над тихой рекой легкий пар, уплывавший вместе с водою, и пригревало спины двух ярых рыболовов приятным весенним теплом, Мориссо говорил порой своему соседу: «Как хорошо! А?», на что г-н Соваж отвечал: «Лучше и быть не может». И этого им было довольно, чтобы понимать и уважать друг друга.

Осенью, на склоне дня, когда небо, окрашенное кровью заходящего солнца, роняло в воду отблески багряных облаков, заливало пурпуром всю реку, охватывало пламенем горизонт, озаряло красным светом обоих друзей и золотило листья деревьев, уже успевшие пожелтеть и дрожащие от предчувствия зимних холодов, г-н Соваж с улыбкой смотрел на Мориссо и говорил: «Какая картина!» И восхищенный Мориссо отвечал, не отрывая глаз от своего поплавок: «Да, такой на бульварах не увидишь!»

Теперь, узнав друг друга, они обменялись крепким рукопожатием, взволнованные встречей при новых и столь необычных обстоятельствах. Г-н Соваж прошептал, вздохнув:

– Вот какие дела!

Мориссо простонал уныло:

– А какова погода! Сегодня первый ясный день в этом году.

Небо действительно было совсем синее, все залитое светом.

Они пошли рядом, задумчивые и печальные. Мориссо заговорил первый:

- А рыбная ловля? Какое прекрасное воспоминание!

Господин Соваж спросил:

- Когда-то мы снова займемся ею?

Они зашли в небольшое кафе и выпили абсента; затем снова зашагали по тротуарам.

Вдруг Мориссо остановился:

- Еще по стаканчику, а?

Господин Соваж согласился:

- С удовольствием.

И они зашли в другой кабачок.

Они вышли оттуда с закружившейся головой, как это бывает с людьми, когда они основательно выпьют на пустой желудок. Было тепло. Ласковый ветерок овеивал их лица.

Господин Соваж, окончательно опьяневший от разлитого в воздухе тепла, остановился.

- А что, если поехать туда?

- Куда это?

- Да на рыбную ловлю!

- Но куда же?

– На наш остров, вот куда. Французские аванпосты стоят у Коломба. Я знаком с полковником Дюмуленом. Нас пропустят.

Мориссо затрепетал от страстного нетерпения.

– Решено. Я согласен.

И они расстались, чтобы взять рыболовные снасти.

Часом позже они шагали рядом по большой дороге, затем добрались до дачи, которую занимал полковник. Выслушав просьбу друзей, он улыбнулся и уступил их причуде. Заручившись паролем, они отправились дальше.

Вскоре они миновали аванпосты, прошли через опустевший Коломб и очутились на краю небольшого виноградника, который спускался к Сене. Было около одиннадцати часов утра.

Городок Аржантейль напротив них казался вымершим. Холмы Оржемона и Саннуа возвышались над всей окрестностью. Доходившая до Нантера широкая равнина с оголенными вишневыми деревьями и серыми полями была пуста, совершенно пуста.

Господин Соваж прошептал, указывая пальцем на вершины холмов:

– Там, наверху, пруссаки!

И при виде этой безлюдной местности друзья остановились, охваченные беспокойством.

Пруссаки! Они еще ни разу их не видели, но вот уже несколько месяцев, как чувствовали их здесь, близко, вокруг Парижа, разоряющих Францию, грабящих, убивающих, несущих с собой голод, невидимых и всемогущих. И какой-то суеверный страх примешивался к ненависти, которую вызывал в них этот незнакомый победивший народ.

– А что, если мы их встретим? – пробормотал Мориссо.

– Что ж, угостим их жареной рыбой, – ответил г-н Соваж с юмором, который не покидает парижанина, несмотря ни на что.

Однако напуганные царившим вокруг безмолвием, они не отваживались двинуться дальше, в глубь полей.

Наконец г-н Соваж решился:

– В путь! Но только осторожно.

И они начали спускаться вдоль виноградника, согнувшись, почти ползком, пользуясь кустарником как прикрытием, оглядываясь по сторонам и напрягая слух.

Между ними и берегом реки оставалась лишь узкая полоса голой земли. Они пустились по ней бегом и, достигнув откоса, спрятались в сухом камыше.

Мориссо прикинул ухом к земле, прислушиваясь, не ходит ли кто-нибудь поблизости. Он ничего не услышал. Они были одни, совсем одни.

Друзья успокоились и принялись удить рыбу.

Обезлюдивший остров Марант, лежавший напротив, делал их невидимыми для противоположного берега. Маленький ресторанчик с заколоченными ставнями, казалось, был заброшен много лет назад.

Господин Соваж вытащил первого пескаря. Мориссо поймал второго, и они стали наперебой вытаскивать удочки с маленькой серебристой рыбкой, трепетавшей на кончике лесы; это была просто сказочная ловля.

Они бережно складывали рыбу в густую веревочную сетку, мокнувшую у их ног. И упоительное чувство радости проникало в их душу, чувство, всецело охватывающее человека, когда он возвращается к любимому развлечению, которого был лишен долгое время.

Ласковое солнце пригревало им спины, они ничего больше не слышали, ни о чем не думали, позабыли обо всем на свете, – они удили рыбу.

Но внезапно глухой шум, казалось, исходивший откуда-то из глубины, потряс землю: пушки начали грохотать снова.

Мориссо поднял голову и увидел на берегу, налево, высокий силуэт Мон-Валерьяна, украшенный теперь белым хохолком – легким облачком дыма, которое он только что выплюнул.

И тотчас же второе облако дыма поднялось над крепостью, а через несколько мгновений прогремел второй залп.

За ним последовали новые и новые залпы, и каждые несколько минут гора выбрасывала теперь свое смертоносное дыхание, выплевывала молочный дымок, медленно уходивший в спокойное небо и повисавший в нем неподвижной тучкой.

Господин Соваж пожал плечами.

– Снова принялись за дело, – сказал он.

Мориссо, с беспокойством следивший за перышком своего поплавка, то и дело нырявшего в воду, вдруг почувствовал гнев – гнев мирного человека, возмущенного этими безумцами, которые вздумали драться.

– Надо же быть такими дураками, чтобы убивать друг друга! – проворчал он.

Господин Соваж подхватил:

– Они хуже, чем дикие звери.

И Мориссо заявил, вытаскивая уклею:

– Подумать только, что так будет всегда, пока будут существовать правительства.

Господин Соваж остановил его:

- Республика не объявила бы войны...

Но Мориссо прервал приятеля:

- При королях дерутся с чужими, при республике - со своими.

И они принялись спокойно обсуждать важные политические проблемы, высказывая здравые суждения, свойственные добродушным, ограниченным людям, и сходясь на том, что свободы никогда никому не видать.

А Мон-Валерьян непрерывно гремел, разрушая ядрами дома французов, разбивая жизни и уничтожая живые существа, нанося неизлечимые раны - и здесь и в других землях - сердцам матерей, жен, дочерей.

- Такова жизнь, - заявил г-н Соваж.

- Скажите лучше - такова смерть, - с усмешкой возразил Мориссо.

И вдруг приятели вздрогнули от испуга, ясно расслышав у себя за спиной чьи-то шаги; обернувшись, они увидели четырех рослых мужчин, вооруженных и бородатых, одетых в ливреи, точно слуги, и в плоских фуражках. Эти люди целились в них из ружей.

Удочки выскользнули из рук рыбаков и поплыли по течению.

За несколько секунд обоих схватили, связали, бросили в лодку и перевезли на остров.

И позади того самого дома, который казался им заброшенным, они увидели человек двадцать немецких солдат.

Какой-то волосатый колосс, сидевший верхом на стуле и куривший большую фарфоровую трубку, спросил у них на отличном французском языке:

– Ну-с, господа, много ли наловили рыбки?

Тогда один из солдат положил к ногам офицера сетку, полную рыбы, которую не забыл захватить с собой.

Пруссак улыбнулся.

– Ого! Я вижу, улов недурен. Но сейчас речь не об этом. Выслушайте меня внимательно. На мой взгляд, вы – два шпиона, подсланные для того, чтобы выследить меня. Я вас поймал и намерен вас расстрелять. Чтобы лучше скрыть свои намерения, вы делали вид, будто удите рыбу. Вы попались мне в руки, тем хуже для вас, – на то и война. Однако вы прошли через аванпосты, и, разумеется, у вас есть пароль, чтобы пройти обратно. Сообщите мне этот пароль, и я пощажу вас.

Друзья стояли рядом, мертвенно-бледные; руки их дрожали нервной дрожью; они молчали.

– Об этом никто никогда не узнает, – продолжал офицер, – вы вернетесь домой как ни в чем не бывало. Тайна исчезнет вместе с вами. Если же вы откажетесь, вас ждет смерть, и притом немедленно. Выбирайте.

Они по-прежнему стояли неподвижно, не раскрывая рта.

Пруссак все так же спокойно заговорил опять, указывая рукой на Сену:

– Подумайте... Через пять минут вы будете там, на дне реки. Через пять минут! У вас, должно быть, есть родные?

Мон-Валерьян продолжал грохотать.

Два рыбака безмолвно стояли на месте. Немец отдал какое-то приказание на своем языке. Затем он передвинул стул подальше от пленных; двенадцать солдат подошли и выстроились в двадцати шагах, с ружьями к ноге.

Офицер сказал:

– Даю вам одну минуту, ни секунды больше.

Неожиданно он встал, подошел к французам, взял под руку Мориссо, отвел его в сторону и сказал шепотом:

– Живо говорите пароль. Ваш товарищ ничего не узнает. Я притворюсь, что пожалел вас.

Мориссо ничего не ответил.

Тогда пруссак отвел в сторону г-на Соважа и предложил ему то же самое.

Господин Соваж не ответил.

Их снова поставили рядом.

И офицер отдал команду. Солдаты вскинули ружья.

В эту минуту взгляд Мориссо случайно упал на сетку с пескарями, лежавшую на траве в нескольких шагах от него.

Солнечный луч блестел на кучке рыбок, которые еще трепыхались. И внезапно Мориссо охватила слабость. Как он ни сдерживался, глаза его наполнились слезами.

Он прошептал:

– Прощайте, господин Соваж.

Тот ответил:

– Прощайте, господин Мориссо.

Они пожали друг другу руки; обоих с ног до головы била мелкая непреодолимая дрожь.

Офицер крикнул:

- Пли!

Двенадцать выстрелов слились в один.

Господин Соваж рухнул на землю ничком. Мориссо, более рослый, зашатался, перевернулся и упал на своего товарища, поперек, лицом кверху; по его мундиру, пробитому на груди, потекли струйки крови.

Немец отдал еще несколько приказаний.

Солдаты разошлись и вскоре вернулись с веревками и камнями; камни они привязали к ногам мертвецов, затем отнесли трупы на берег.

Мон-Валерьян не переставал грохотать; над ними стояла теперь целая куча дыма.

Двое солдат взяли Мориссо за голову и за ноги, двое других таким же способом подняли г-на Соважа; потом, сильно раскачав тела, они бросили их далеко в реку; тела описали дугу и стоймя погрузились в воду, так как камни прежде всего потянули вниз ноги.

Вода вспенилась, закипела, забурлила, потом успокоилась, и только мелкие-мелкие волны побежали к берегу.

На поверхности плавало немного крови.

Офицер, по-прежнему невозмутимо спокойный, произнес вполголоса:

- Остальное доделают рыбы.

Затем направился к дому.

И вдруг он заметил в траве сетку с пескарями. Он поднял ее, осмотрел и, улыбаясь, крикнул:

– Вильгельм!

Подбежал солдат в белом фартуке.

И, бросив ему улов двух расстрелянных французов, пруссак приказал:

– Зажарь-ка мне этих рыбешек, да поскорее, пока они еще живые. Это будет замечательно вкусно.

И снова закурил трубку.

Дядюшка Милон

(в переводе Д. Лившиц)

Вот уже месяц, как щедрое солнце льет на поля свое жгучее пламя. Лучезарная жизнь расцветает под этим огненным ливнем; всюду, куда ни кинешь взгляд, зеленеет земля. Небо сине до самых краев горизонта. Нормандские фермы, разбросанные по долине, похожи издали на маленькие рощицы, окаймленные стеной высоких буков. Вблизи же, когда откроешь источенную червем калитку, кажется, будто попал в гигантский сад: старые яблони, напоминающие угловатых старух-крестьянок, стоят в цвету все, как одна. Древние черные стволы, кривые, корявые, вытянулись вдоль двора и с гордостью показывают небу свои сияющие купола, розовые и белые. Нежный аромат цветения смешивается с густым запахом раскрытых хлебов, с испарениями дымящейся навозной кучи, где хлопочут куры.

Полдень. В тени большой груши, растущей у самой двери, сидит за обедом все семейство: отец, мать, четверо детей, две служанки и три работника. Все молчат. Едят суп, затем снимают крышку с миски картофеля, жаренного в свином сале.

Время от времени одна из служанок поднимается с места и идет в погреб, чтобы вновь наполнить опустевший кувшин сидром.

Хозяин, высокий сорокалетний мужчина, долго смотрит на виноградную лозу, совсем еще голую и, как змея, обвившую стену дома под ставнями.

– Нынешний год, – говорит он, – почки рано набухли на лозе старика. Может, дождемся и винограда.

Жена тоже оборачивается и смотрит, не говоря ни слова.

Лозу посадили на том самом месте, где был расстрелян отец.

Это случилось во время войны 1870 года. Пруссаки захватили весь край. Северная армия во главе с генералом Федербом еще оказывала им сопротивление.

Прусский штаб расположился на этой ферме. Старик-крестьянин, которому она принадлежала, дядюшка Милон, по имени Пьер, принял и устроил пруссаков как нельзя лучше.

В течение месяца немецкий авангард оставался в деревне для разведок. Французы находились на расстоянии десяти лье, но не двигались с места, а между тем каждую ночь исчезало несколько улан.

Когда разведчиков посылали в дозор по двое или по трое, никто из них уже не возвращался.

Утром их находили мертвыми где-нибудь в поле, на задах огорода или в овраге. Даже их лошади издыхали на дорогах, зарубленные саблей.

По-видимому, эти убийства совершали одни и те же лица, но никто не мог их обнаружить.

Все население подверглось жестоким преследованиям. На основании малейшего доноса расстреливали мужчин, сажали в тюрьму женщин, угрозами пытались выведать что-нибудь у детей. Все было напрасно.

Но вот однажды утром дядюшку Милона нашли на соломе в конюшне. Лицо его было рассечено сабельным ударом.

А в трех километрах от фермы подобрали двух улан с распоротыми животами. Один из них еще сжимал в руке окровавленную саблю. Очевидно, он дрался, защищался.

Тут же перед домом, во дворе, был немедленно созван военно-полевой суд, на который привели старика.

Ему было шестьдесят восемь лет. Он был мал ростом, худощав, сгорблен; большие руки напоминали клешни краба. Сквозь волосы, бесцветные, редкие и легкие, как пух утенка, просвечивал лысый череп. На шее, под темной и сморщенной кожей, набухли толстые жилы, уходившие под челюсти и вновь проступавшие на висках. Он слыл в поселке человеком несговорчивым и скупым.

Пять офицеров и полковник уселись во дворе за столом, вынесенным из кухни. Старика под охраной четырех солдат поставили перед ними.

Полковник заговорил по-французски:

– Дядя Милон! С тех пор как мы здесь, мы ни в чем не могли упрекнуть вас. Вы всегда были услужливы и даже предупредительны по отношению к нам. Но вот сейчас над вами тяготеет страшное обвинение, и необходимо пролить свет на это дело. Откуда у вас рана на лице?

Крестьянин ничего не ответил.

– Дядя Милон, – продолжал полковник, – ваше молчание уличает вас. Но все же я требую, чтобы вы ответили мне, слышите? Вы знаете, кто убил двух улан, найденных сегодня утром у распятия на дороге?

Старик отчетливо выговорил:

– Я.

В изумлении полковник замолчал и пристально посмотрел на арестованного. Дядюшка Милон тупо уставился в землю, словно стоял на исповеди перед деревенским кюре. Лишь одно выдавало в нем внутреннее волнение: он часто и с заметным усилием глотал слюну, как будто она застревала у него в горле.

Семья старика – сын его Жан, невестка и двое маленьких внуков – стояла сзади, шагах в десяти, испуганная и растерянная.

– А известно ли вам, – продолжал полковник, – кто убил остальных разведчиков нашей армии, которых в последнее время каждое утро находили мертвыми в поле?

– Я, – ответил старик все с тем же тупым спокойствием.

– Что? Всех?

– Всех, как есть.

– Вы? Один?

– Один.

– Расскажите, как вы это делали.

На этот раз старик, видимо, взволновался; необходимость произнести длинную тираду явно его смущала.

– Почему я знаю? Как приходилось, так и делал.

– Предупреждаю, – продолжал полковник, – что вам придется рассказать все, как было. Поэтому вам же будет лучше, если вы сознаетесь сразу. Расскажите все сначала.

Старик беспокойно оглянулся на свою семью, которая настороженно прислушивалась, стоя за его спиной. Еще с минуту он колебался, потом вдруг заговорил:

– Как-то вечером – было это часов около десяти, на другой день после того, как вы явились к нам, – я шел домой. Вы и ваши солдаты отняли у меня корову, двух баранов, а сена забрали не меньше, как на пятьдесят эку. Я подумал про себя: «Ладно, сколько бы ни брали, я за все расквитаюсь». Я еще и другую обиду держал на сердце – скажу после. Так вот, как-то вечером вижу я: один из ваших кавалеристов сидит за моей ригой, у канавы. Сидит и покуривает трубку. Я снял с крюка косу, тихонечко подкрался к нему сзади, – он ничего не слышал. И вот я отрубил ему голову одним махом, словно колос срезал. Он не успел и ахнуть! Поищите в болоте: он лежит там на дне в мешке из-под угля, на шее – камень из ограды... Я знал, что мне делать. Снял с него мундир, потом сапоги, шапку, все снимал и спрятал в печи, где мы обжигаем известь. Это в Мартеновой роще, недалеко, за моим двором.

Старик замолчал. Пораженные офицеры смотрели друг на друга. Допрос возобновился, и вот что они узнали...

Совершив свое первое убийство, старик стал жить одной мыслью: убивать немцев! Он ненавидел их упорной и затаенной ненавистью крестьянина-скопидома и вместе с тем патриота. Как он сказал, «он знал, что ему делать». Он выждал несколько дней.

Ему позволяли свободно разгуливать по деревне, уходить и возвращаться, когда вздумается, – таким смиренным, покорным и услужливым по отношению к победителям он успел себя зарекомендовать.

Каждый вечер дядюшка Милон видел, как уезжают нарочные с донесением; он знал название деревни, куда отправлялись всадники, и выучил, постоянно общаясь с немецкими солдатами, те несколько слов, которые были ему нужны; и вот однажды ночью он решился.

Он вышел со двора, прокрался в лес, дошел до обжигательной печи, проник в глубь длинного подземного коридора, достал мундир убитого им пруссака и надел его.

Затем он начал рыскать по полям, пробираясь то ползком, то прячась за бугорками, беспокойно прислушиваясь к малейшему шуму, словно какой-нибудь браконьер.

Когда, по его мнению, настало время действовать, он подошел ближе к дороге и спрятался в колючем кустарнике. Здесь он подождал еще. Наконец около полуночи раздался конский топот. Старик приник ухом к земле, желая убедиться, что едет только один всадник, затем приготовился.

Улан ехал рысью: он вез депеши. Он приближался, зорко всматриваясь в даль, напрягая слух. Когда он оказался не более чем в десяти шагах, дядюшка Милон выполз на дорогу и застонал: «Hilfe! Hilfe!» («Помогите! Помогите!») Всадник остановился, увидел лежащего на земле немецкого кавалериста, решил, что тот ранен, соскочил с коня, подошел ближе, ничего не подозревая, и в тот момент, когда он нагнулся над неизвестным, длинное кривое лезвие сабли вонзилось прямо ему в живот. Он свалился на землю, как подкошенный, и только вздрогнул несколько раз в предсмертных судорогах.

Тогда, полный радости, немой радости старого крестьянина-нормандца, дядюшка Милон поднялся и для большей верности перерезал мертвому горло. Затем он дотащил труп до оврага и бросил его туда.

Лошадь спокойно ждала своего хозяина. Дядюшка Милон уселся в седло и галопом поскакал по равнинам.

Часом позже он заметил еще двух улан, бок о бок возвращавшихся в деревню. Он поехал прямо на них, крича, как в первый раз: «Hilfe! Hilfe!» Пруссаки, узнав свой мундир, поджидали его без малейшего подозрения. И, как пушечное ядро, промчавшись между ними, старик уложил обоих: одного ударом сабли, а другого выстрелом из револьвера.

Он выпустил кишки их лошадям – немецким лошадям! – тихонько вернулся назад, к обжигательной печи, и спрятал лошадь первого улана в глубине темного коридора. Здесь он снял мундир, снова облачился в свое нищенское тряпье и, добравшись до постели, проспал до утра.

Он не выходил четверо суток, ожидая конца дознания; однако на пятую ночь он отправился снова и убил еще двух солдат с помощью такого же маневра. С той поры он не пропускал ни одного случая. Призрачный улан, охотник на людей, каждую ночь он бродил, он рыскал по окрестностям, убивая пруссаков, где только мог, галопом носясь по безлюдным, залитым лунным светом полям. Выполнив свою задачу, оставив позади, на дорогах, трупы врагов, старый

всадник возвращался к обжигательной печи и прятал там лошадь и мундир.

Среди дня он с безмятежным видом относил овса и воды своему коню, остававшемуся в глубине подземного коридора, и кормил его вволю, так как требовал от него нелегкой работы.

Но вот в последнюю ночь один из пруссаков, на которых напал дядюшка Милон, не растерялся и рассек ему лицо саблей.

Тем не менее старик убил обоих. У него еще хватило сил доехать до печи, спрятать лошадь и надеть свое крестьянское платье, но на обратном пути он так ослабел, что не смог дойти до дома и едва дотащился до конюшни.

Здесь его и нашли, окровавленного, на соломе...

Окончив свой рассказ, дядюшка Милон внезапно поднял голову и с гордостью взглянул на прусских офицеров.

Полковник спросил его, теребя ус:

– Вам больше нечего сказать?

– Нет, нечего. Счет у меня верный. Я убил шестнадцать человек – ни больше и ни меньше.

– Известно вам, что вы должны умереть?

– Я, кажется, не просил у вас пощады.

– Вы когда-нибудь служили в солдатах?

– Да, было время, я участвовал в походах. И отец мой был солдатом, еще при первом Наполеоне. Вы его убили. Вы и Франсуа убили, моего младшего сына, в прошлом месяце, близ Эвре. Я был у вас в долгу, я вам уплатил сполна. Теперь мы квиты.

Офицеры переглянулись.

– Восемь за отца, восемь за сыночка, мы квиты, – продолжал старик. – Не я первый затеял с вами ссору! Я вас совсем не знаю! Не знаю даже, откуда вы и взялись! Пришли ко мне и распоряжаетесь, точно у себя дома. Я выместил это на тех, на шестнадцати. И ничуть об этом не жалею.

И, расправив сгорбленные плечи, старик с горделивым смирением скрестил руки.

Пруссаки долго переговаривались шепотом. Один капитан, тоже потерявший сына месяц назад, защищал храброго крестьянина.

Полковник встал и, подойдя к дядюшке Милону, сказал, понизив голос:

– Послушай, старик. Пожалуй, есть еще средство спасти тебе жизнь. Если ты...

Но старик не стал его слушать. Его редкие волосы развевались на ветру, худое, изуродованное ударом сабли лицо свело страшной судорогой; он впился глазами в офицера-победителя и, набрав в грудь воздуха, что было силы плюнул пруссаку прямо в лицо.

Полковник в бешенстве занес руку, но старик плюнул ему в лицо еще раз.

Все офицеры, вскочив с мест, одновременно выкрикивали какие-то приказания.

Старика схватили, поставили к стене и расстреляли, и до последней минуты он спокойно улыбался обезумевшим от ужаса сыну, невестке и внукам.

Помешанная

(в переводе Д. Лившиц)

Роберу де Боньеру

– Послушайте, – сказал Матье д’Эндолен, – бекасы напоминают мне очень мрачный эпизод из времен войны.

Вы знаете мое имение в предместье Кормейля. Когда пришли пруссаки, я как раз жил там.

Моей соседкой в то время была одна помешанная; рассудок ее помутился под ударами судьбы. В молодости, когда ей было двадцать пять лет, она сразу, в один месяц, потеряла отца, мужа и новорожденного ребенка.

Если смерть однажды вошла в дом, она почти всегда спешит вернуться туда, словно по проторенной дорожке.

Несчастливая молодая женщина, сраженная горем, слегла и в течение шести недель была без памяти. Затем этот бурный приступ сменился периодом тихого изнеможения. Больная по целым дням лежала не двигаясь, почти не принимая пищи, только вскидывая и опуская веки. Каждый раз, когда хотели поднять ее с постели, она начинала кричать так, словно ее убивали. И ее оставили в покое, приподнимая только для того, чтобы переменить белье или перевернуть тюфяки.

При ней находилась старая служанка, которая насильно заставляла больную выпить чего-нибудь или проглотить кусочек холодного мяса. Что происходило в ее душе, исполненной отчаяния? Этому не знал никто, так как она не произносила теперь ни одного слова. Думала ли она об умерших? Или тосковала о чем-то без каких-либо отчетливых воспоминаний? А быть может, ее угасшая мысль застыла, как стоячая вода?

Она провела так пятнадцать лет – без людей, без движения.

Началась война. И вот в первых числах декабря пруссаки вошли в Кормейль.

Я помню все, точно это было вчера. Стояли трескучие морозы; я лежал в кресле, прикованный к месту подагрой, как вдруг услышал тяжелый и мерный звук их шагов. Из окна мне было видно, как они проходили.

Они шли бесконечной вереницей, все на одно лицо, с характерными для них механическими движениями картонных паяцев. Затем командиры разместили своих людей по квартирам. Мне досталось семнадцать человек. У соседки, той самой, помешанной, поселились двенадцать и среди них один офицер, настоящий солдафон, жестокий, угрюмый.

В первые дни все шло благополучно. Кто-то сказал офицеру, что его хозяйка больна, и он больше не интересовался ею. Но вскоре эта женщина, которую никто никогда не видел, начала его раздражать. Он осведомился о ее болезни; ему ответили, что больная пережила когда-то большое горе и уже пятнадцать лет лежит пластом. Видимо, он этому не поверил и решил, что бедная помешанная не встает с постели из гордости, чтобы не видеть пруссаков, не разговаривать с ними, не иметь с ними ничего общего.

Он потребовал, чтобы она приняла его; его ввели к ней в спальню. Он грубо сказал: «Я буду просить вас, сударыня, встать и спуститься вниз, чтобы все могли вас видеть».

Она взглянула на него своим туманным, своим бессмысленным взглядом и ничего не ответила.

Он продолжал: «Я не потерплю дерзости. Если вы не будете вставать добровольно, я сумею найти такой средство, который заставит вас прогуляться без всякий помощник».

Она не сделала ни одного движения, не пошевелилась и, казалось, даже не заметила его присутствия.

Он кипел, принимая это спокойное молчание за проявление величайшего презрения. «Если вы не будете сходить вниз завтра...» – повторил он и вышел.

На другой день старуха служанка, страшно напуганная, хотела было одеть ее, но помешанная начала отбиваться, испуская дикие вопли. Офицер взбежал вверх. Служанка бросилась перед ним на колени с криком: «Она не хочет, сударь, она не хочет. Простите ее, она такая несчастная».

Офицер стоял в смущении, не решаясь, несмотря на всю ярость, приказать своим людям стащить ее с постели. Но вдруг он захохотал и отдал какое-то приказание

по-немецки.

И вскоре из дому вышел небольшой отряд, который нес на руках тюфяк, словно носилки с раненым. На этом ложе, оставшемся нетронутым, больная, как всегда безмолвная, лежала совершенно спокойно, равнодушная ко всему, что делается вокруг, лишь бы ее не заставляли встать. Один из солдат шел сзади, неся узел женского платья.

И офицер сказал, потирая руки: «Теперь мы будем увидеть, действительно ли вы не можете сами одеться и сделать маленькая прогулка».

Процессия двинулась дальше, по направлению к Имовильскому лесу.

А через два часа солдаты вернулись без своей ноши.

С тех пор никто больше не видел помешанной. Что они с ней сделали? Куда отнесли ее? Этого так и не узнали.

Снег шел теперь и днем и ночью, погребая равнину и леса под мшистым ледяным саваном. Волки выли у порогов наших домов.

Мысль об исчезнувшей женщине преследовала меня неотступно; я неоднократно обращался к прусским властям, пытаюсь добиться от них каких-нибудь сведений. Меня чуть было не расстреляли.

Вновь пришла весна. Оккупационная армия покинула наши края. Дом соседки стоял запертый. Густая трава выросла на аллеях сада.

Старуха служанка умерла еще зимой. Никто не интересовался больше этим происшествием, один только я не переставал о нем думать.

Что они сделали с бедной женщиной? Убежала ли она из лесу? Быть может, кто-нибудь подобрал ее и, не сумев добиться от нее пояснений, поместил в больницу? Все эти мучительные вопросы так и оставались неразрешенными, но мало-помалу время утишило мою душевную тревогу.

И вот на следующую осень прилетело множество бекасов. Воспользовавшись короткой передышкой, которую мне подарила болезнь, я кое-как дотащился до леса. Я убил уже пять или шесть долгоносых птиц, как вдруг один из подстреленных бекасов упал в овраг, заваленный сухими ветками. Чтобы подобрать добычу, мне пришлось спуститься на самое дно. Я нашел ее рядом с чьим-то черепом. И внезапно, словно меня ударили кулаком в грудь, я вспомнил о помешанной. Быть может, много людей погибло в этих лесах за тот зловещий год, но, не знаю почему, я был уверен, вы понимаете, уверен, что передо мной лежит череп несчастной больной.

И вдруг я понял все, решительно все. Они бросили ее на тюфяке в холодном безлюдном лесу; и, верная своей навязчивой идее, она так и умерла под густым и легким пухом снегов, не пошевелив ни рукой, ни ногой.

Потом волки растерзали ее труп.

А птицы свили гнезда из клочьев ее разодранной постели.

Я сохранил у себя эти печальные останки, и самое большое мое желание – чтобы нашим сыновьям никогда не пришлось увидеть войну.

Хозяйка

(в переводе Н. Немчиновой)

Доктору Барадюк

– Я жил тогда, – начал Жорж Кервелен, – в меблированных комнатах на улице Святых отцов.

Когда родители решили отправить меня в Париж изучать право, началось долгое обсуждение всяких подробностей. Цифра моего годового содержания была определена в две тысячи пятьсот франков, но бедную матушку охватило одно опасение, которое она и поведала отцу:

- Если он вдруг станет тратить все свои деньги на пустяки и будет плохо питаться, может пострадать его здоровье. Молодые люди на все ведь способны.

Тогда решили подыскать для меня семейный пансион, скромный и удобный пансион, с тем чтобы плату вносили за меня ежемесячно сами родители.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/de-mopassan_gi/zver-dyadi-bel-oma

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)